

Ночная душа самоубийцы

Преступление человека против самого себя

На Достоевского особенно тяжелое и мрачное впечатление производили самоубийства, заставлявшие людей преодолевать инстинкт самосохранения, естественный страх боли, страданий, смерти. В акте самоистребления писатель видел преступление человека не только против самого себя, своей жизни и личности, но и против данного Богом нравственного закона, запрещающего подобный произвол. Развернутое и близкое взглядам Достоевского толкование этого закона-запрета дал Гегель в своей «Философии права»: «Можно, конечно, рассматривать самоубийство как храбрость, но как дурную храбрость портных и служанок. Можно также рассматривать его как несчастье, поскольку к этому приводит душевный разлад, но главный вопрос заключается в том, имею ли я на это право? Ответ будет гласить: я, как этот индивид, не являюсь хозяином моей жизни, ибо всеохватывающая тотальность деятельности, жизнь, не есть внешнее по отношению к личности, которая сама есть непосредственно эта тотальность. Если поэтому говорят о праве, которое лицо имеет на свою жизнь, то это противоречие, ибо это означало бы, что лицо имеет право на себя. Но этого права оно не имеет, так как оно не стоит над собой и не может себя судить. Если Геракл сжег себя, если Брут бросился на свой меч, то это поведение героя по отношению к своей личности: однако когда вопрос ставится о простом праве убить себя, то в этом должно быть отказано и героям».³⁷ Поскольку

³⁷ Гегель Г.В. Философия права. М., 1990. С. 127.

отдельный индивид — существо подчиненное, он обязан покориться надличной метафизической силе и исходящему от нее нравственному запрету на самовольный уход из жизни. То есть самоубийство следует расценивать как покушение не только на «образ Бога» в себе, но и на весь миропорядок, на коренные устои и законы бытия, согласно которым люди обязаны стойко переносить невзгоды и страдания земной жизни до тех пор, пока их душа пребывает в телесной оболочке. И в этом смысле самоубийство — тяжкий грех, поскольку человек самовольно присваивает себе право распорядиться тем, что принадлежит не ему, а Богу.

При всей однозначной категоричности метафизического запрета на самоубийство, оно всегда относилось к разряду наиболее сложных религиозных и философско-этнических проблем. Тем более, что история цивилизации знает немало примеров вполне толерантного и даже одобрительного отношения к нему. Достаточно вспомнить практику политических самоубийств в Древнем Риме, ритуальные самоубийства вдов на похоронах мужей в Древней Индии, японский дворянский обычай харакири и др.

Если брать «бытовые» самоубийства, то среди разнообразия провоцирующих его причин чаще всего принято указывать на внешние (социальные) и внутренние (психологические) причины. В ряду первых называют общественные кризисы, материальные трудности, семейные конфликты, несчастную любовь, страх уголовного наказания и т.д. К причинам второго ряда относят экзистенциальные катастрофы, обнаруживающиеся как крах всей системы жизненных ценностей, утрата смысла жизни. Во всех случаях результаты сходные: собственная жизнь в глазах человека обесценивается, утрачивает привлекательность, превращается в невыносимое бремя и порождает желание избавиться от этого бремени.

«Эпидемия самоубийств»

Достоевский с его склонностью к социологическим изысканиям и метафизическим размышлениям не мог пройти мимо той «эпидемии самоубийств», что буквально захлестнула Россию в 1870-е годы. В «Дневнике писателя» за 1876 год он признавался, что получает много писем с изложениями фактов самоубийства и просьбами объяснить их (24, 50).

Современница Достоевского, писательница Л.Х. Хохрякова свидетельствовала: «Федор Михайлович был единственный человек, обративший внимание на факты самоубийства: он сгруппировал их и подвел итог, по обыкновению глубоко и серьезно взглянув на предмет, о котором говорил. Перед тем, как сказать об этом в “Дневнике”, он следил долго за газетными известиями о подобных фактах, — а их, как нарочно, в 1875 году явилось много, — и при каждом новом факте говаривал: “Опять новая жертва и опять судебная медицина решила, что это сумасшедший! Никак ведь они (то есть медики) не могут догадаться, что человек способен решиться на самоубийство и в здравом рассудке от каких-нибудь неудач, просто от отчаяния, а в наше время и от прямолинейности взгляда на жизнь. Тут реализм причиной, а не сумасшествие”». ³⁸

Достоевский пытался и при помощи художественных средств прояснить проблему самоубийства. Об этом свидетельствует значительное число героев его произведений, решившихся на самоубийство, — Свидригайлов, Ставрогин, Кириллов, Смердяков, героиня повести «Кроткая»,

³⁸ *Симонова-Хохрякова Л.Х.* По поводу рассуждений Ф.М. Достоевского о русской женщине // Церковно-общественный вестник. М., 1876. С. 4.

«смешной человек», Крафт и Оля из «Подростка» и ряд других персонажей.

Симптоматично, что приблизительно в это же время, т. е. в 1870-е годы крупнейший русский писатель, Л.Н. Толстой, посвятил свой второй по значимости роман судьбе женщины-самоубийцы, проследил шаг за шагом ее историю, начавшуюся на железной дороге и закончившуюся там же, на ее рельсах.

Практически в это же время в Европе начинают выходить специальные исследования проблемы самоубийства. Это книга Э. Морселли «Самоубийство» (1879), а затем, уже после смерти Достоевского, социологическая монография Э. Дюркгейма с таким же названием.

У Достоевского и Дюркгейма обнаруживается определенная близость подходов. Оба они связывают возрастание количества самоубийств с социально-историческим феноменом, названным у Достоевского *вседозволенностью*, а у Дюркгейма — *аномией*. При этом французский исследователь старался обходиться без метафизических рассуждений, полагая, что изучение конкретных социальных причин способно дать гораздо больше для понимания природы самоубийств, чем теории моралистов и метафизиков. Его интересовали в первую очередь «ясно очерченные группы фактов», поддающиеся эмпирическим констатациям и социологическим обобщениям.

Типы самоубийств

Исследуя зависимость самоубийств от социально-исторических обстоятельств, Дюркгейм обращает особое внимание на три типа суицидных акций — эгоистические, альтруистические и аномийные.

К *эгоистическим* самоубийствам социолог относит те случаи, когда человек, исходя из сугубо личных коллизий, утрачивает смысл жизни и перестает дорожить ею. При этом коллективные ценности, общественные приоритеты отступают далеко на задний план. «Социальная тоска» ослабляет привязанность к жизни, снижает сопротивляемость человека ударам судьбы и превращает в легкую добычу суицидных настроений. Согласно Дюркгейму, основными причинами самоубийств в таких случаях становятся индивидуализм и самоизоляция личности от социального окружения.

Альтруистические самоубийства, напротив, имеют своим основанием прочную интегрированность индивидуального «я» в социальную группу, когда человек не видит смысла существования за пределами своей общности и готов ради ее интересов пожертвовать собой. Сюда Дюркгейм относит архаические обычаи ритуальных самосожжений жен на могилах мужей, самоубийства бессильных стариков и безнадежно больных, самозаклания рабов после смерти их хозяев и т.д. Преобладавшие, в основном в древних сообществах, альтруистические самоубийства как отдельные случаи сохранились и в современном мире. Они случаются тогда, когда императивы корпоративной морали оказываются для человека сильнее инстинкта самосохранения. Так, офицер в сражении, имея возможность спастись, предпочитает погибнуть со своей частью или кораблем, чтобы сохранить офицерскую честь.

Третьему, *аномийному*, виду самоубийств Дюркгейм уделяет наибольшее внимание, считая его наиболее характерным свидетельством кризисного состояния современного цивилизованного общества.

В условиях социальной аномии, когда кризис охватывает все сферы общественной жизни — экономику, поли-

тику, области морально-правовой регуляции, и когда нарушается обычная функциональная сбалансированность социума. Люди становятся более уязвимыми, чем обычно, поскольку утрачивают устойчивость ценностных ориентаций. Увеличивающаяся пропасть между богатством и бедностью, невозможность успешно решать свои самые насущные проблемы ведут к росту числа самоубийств. То есть главное основание аномийного самоубийства, по Дюркгейму, — это осознание человеком неразрешимости противоречия между его притязаниями и невозможностью их реализовать.

Когда личность предоставлена самой себе и над ней не довлеют социальные императивы, когда она не ощущает себя частью целого и ее свобода не уравнивается ни внешними, ни внутренними дисциплинарными факторами, это создает суицидогенную обстановку. Недостаточную интегрированность индивида в коллективное целое Дюркгейм относит к проявлениям социальной патологии.

Смертоносность «коллективной печали»

Поскольку склонность к самоубийствам всегда была присуща европейским народам, это издавна вызывало серьезную озабоченность религиозного, морального и правового сознания и соответствующих им социальных институтов. Тревога возрастала, когда число самоубийств заметно увеличивалось. Но в основном их количество в конкретных регионах на протяжении определенных периодов составляло скорее постоянные, чем переменные величины. Дюркгейм считает это одним из проявлений «коллективной печали», присущей общественным организмам. Поскольку в жизни всегда присутствует немало тяжелого, обманчивого или пустого, то людям никогда не удавалось жить, испыты-

вая одну лишь радость. Поэтому в культурах всех народов всегда наряду с оптимистическими настроениями присутствовали и умонастроения меланхолического характера.

Дюркгейм согласен с известными ему предположениями других исследователей, будто увеличение числа самоубийств на протяжении последнего столетия — это плата народов за те блага, которые несет с собой цивилизация. Здесь, по его мнению, «коллективная печаль», обычно пребывающая на уровне бессознательных настроений, стала давать более частые и сильные вспышки. Но когда философское осуждение жизни переходит во все более распространяющиеся практические суицидные попытки, — это следует рассматривать уже как явную социальную патологию, с которой необходимо бороться.

И здесь возникает вопрос: какими средствами эта борьба должна вестись? Суровые репрессивные меры в данном случае неприемлемы. Жалость к жертве не позволяет общественному порицанию быть однозначно беспощадным. К многим из тех умонастроений и переживаний, что приводят человека к самоубийству, общественная мораль относится терпимо и даже сочувственно. Остается лишь крайне ограниченный перечень морально-правовых санкций — таких, например, как лишение самоубийц погребальных почестей или лишение граждан, покушавшихся на самоубийство, некоторых политических прав.

Нередко основное средство против эпидемий самоубийства видят в восстановлении авторитета религии. Но засилие современного рационализма, как считает Дюркгейм, будет препятствовать ее нормативному воздействию на сознание и поведение людей.

Не может быть надежной преградой для суицидных настроений и современная семья, также подверженная множеству социальных болезней.

Что же касается государства, то оно, по мнению ученого, слишком тяжеловесно и громоздко, чтобы успешно осуществлять такую тонкую и сложную профилактическую работу. В силу своей природы оно не в состоянии адекватно реагировать на бесконечное разнообразие частных обстоятельств, порождающих трагические ситуации.

И все же выход существует. Дюркгейм видит его в самом широком и интенсивном развитии внегосударственных форм межличностного общения. Разнообразные корпорации граждан, существующие в достаточной близости от их личной жизни, способны быстро и эффективно реагировать на различные коллизии в ее сферах. Не позволяющие индивидам ощущать свою отчужденность и покинутость они могут успешно страховать от суицидных попыток. Союзы, корпорации, клубы и прочие сообщества способны улаживать конфликты, защищать права и свободы своих членов, оказывать дисциплинирующее и рекреативное воздействие на их поведение. Коллективная воля гражданских сообществ, обладающая моральной властью, способна поддерживать духовное здоровье как отдельных лиц, так и всего народа в целом.

«Метафизическая тоска» и влечение к смерти

Представленный Дюркгеймом основательный анализ проблемы самоубийства во многом перекликался с теми констатациями и выводами, что имелись у Достоевского. Оба мыслителя пришли к сходному пониманию многих причин этого явления. И все же имеется пункт, где их подходы обнаруживают явное несовпадение. Дюркгейму был большей частью чужд *метафизический* срез темы самоубийства, который для Достоевского составлял ее важнейшее основание. Французский исследователь в лучших

случаях ограничивался морально-психологическими характеристиками, которые у него редко поднимались до уровня философских обобщений.

Достоевский, не отвергавший значения тех причин, что коренятся непосредственно в социальных сферах, считал, что каузальная цепь в абсолютном большинстве самоубийств гораздо длиннее и уходит своими корнями за пределы социальной среды в метафизическую реальность.

В начале 1876 года Достоевский узнал от К.П. Победоносцева что во Флоренции покончила с собой, отравившись хлороформом, 17-летняя дочь А.И. Герцена. Внешними причинами самоубийства послужила будто бы ее несчастная любовь к французскому социологу Ш. Летурно, которому в то время было 44 года, а также неблагоприятные отношения девушки с матерью.

Самоубийца оставила записку, которая в передаче Достоевского выглядела так: «Предпринимаю длинное путешествие. Если самоубийство не удастся, то пусть соберутся все отпраздновать мое воскресение из мертвых с бокалами Клико. А если удастся, то я прошу только, чтобы схоронили меня, вполне убедясь, что я мертвая, потому что совсем неприятно проснуться в гробу под землей. Очень даже не шикарно выйдет!» (23, 145).

Этот трагический социальный факт можно было объяснить по-разному, в том числе и путем упоминания в качестве непосредственных причин и несчастную любовь, и ссоры, с матерью. Но Достоевский увидел в нем нечто, выходящее за пределы этих причин и попытался дать объяснение, в котором касался реалий метафизического характера. Он писал: «Это те, слишком известные судьи и отрицатели жизни, негодующие на “глупость” появления человека на земле, на бестолковую случайность этого появления, на тиранию косной причины, с которой нельзя

помириться. Тут слышится душа, именно возмущившаяся против “прямолинейности” явлений, не вынесшая этой прямолинейности, сообщившейся ей в доме отца еще с детства. И безобразнее всего то, что ведь она, конечно, умерла без всякого отчетливого сомнения. Сознательного сомнения, так называемых вопросов, вероятнее всего, не было в душе ее; всему она, чему была научена с детства, верила прямо, на слово, и это вернее всего. Значит, просто умерла от “холодного мрака и скуки”, со страданием, так сказать, животным и безотчетным, просто стало душно жить, вроде того, как бы воздуху не достало. Душа не вынесла прямолинейности безотчетно и безотчетно потребовала чего-нибудь более сложного...» (23, 145–146).

Достоевского чрезвычайно волновала загадочность самоубийств, случившихся исключительно из-за приступов «метафизической тоски», т. е. совершенных без каких-либо видимых причин, не из-за нужды, материальных лишений, обиды, болезни или сумасшествия. «Не слышали ли вы, — пишет он, — про такие записочки: “Милый папаша, мне двадцать три года, а я еще ничего не сделал; убежденный, что из меня ничего не выйдет, я решил покончить с жизнью...” И застреливается... В нашем самоубийце даже тени подозрения не бывает в том, что он называется Я и есть существо бессмертное. Он даже как будто никогда не слышал о том ровно ничего... Самоубийца Вертер, кончая с жизнью, в последних строках, им оставленных, жалеет, что не увидит более “прекрасного созвездия Большой Медведицы”, и прощается с ним... Чем же так дороги были молодому Вертеру эти созвездия? Тем, что он сознавал, каждый раз созерцая их, что он вовсе не атом и не ничто перед ними, что вся эта бездна таинственных чудес Божиих вовсе не выше его мысли, не выше его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его, а, стало быть, равна

ему и роднит его с бесконечностью бытия... и что за все счастье чувствовать эту великую мысль, открывающуюся ему: кто он? — он обязан лишь своему *лику человеческому*. “Великий дух, благодарю Тебя за лик человеческий, Тобою данный мне”. Вот какова должна была быть молитва великого Гете во всю жизнь его. У нас разбивают этот данный человеку лик совершенно просто и без всяких этих немецких фокусов, а с Медведицами, не только Большой, да и Малой-то, никто не вздумает попроситься, а и вздумает, так не станет: очень уж это ему стыдно будет» (22, 5–6).

Аномийное самоубийство: русский вариант

Разрушение внутренних, религиозно-нравственных преград, однозначно и твердо запрещающих преступление против самого себя, своего «лика человеческого», в иные эпохи может начинаться очень рано, с детства. Достоевский почти в тех же терминах, что и Дюркгейм, характеризует социально-исторический феномен *аномии*, видя в ней эпоху, когда подобные деструкции обретают тотальный характер, захватывая самых разных людей, включая священников и детей. За каждым единичным случаем писатель усматривает нечто типическое и необходимое, обусловленное эпохальными сдвигами и сломами в иерархии универсальных ценностей и норм. Именно так воспринимает и оценивает он ставшую известной ему историю самоубийства двенадцатилетнего подростка-гимназиста.

Непосредственной причиной гибели вполне обыкновенного мальчика, не распущенного и не буйного, стали неудовлетворительные отметки строгого наставника и наказание, заключавшееся в том, что его не отпустили вместе со всеми домой и оставили в учебном заведении до пяти часов вечера.

Достоевский находит во всей этой истории более глубокую причинную зависимость. Он вспоминает эпизод из повести Л. Толстого «Отрочество» с аналогичной историей наказанного подростка. Там запертый в чулане мальчик тоже мечтает о том, чтобы собственной смертью вызвать общее сожаление. Но между этими двумя случаями пролегал целый исторический период, когда в самом строе прежней дворянской культуры произошел серьезный надлом. За прошедшие годы успело наступить время с иными, чем прежде, умонастроениями. «Мальчик графа Толстого, — пишет Достоевский, — мог мечтать с болезненными слезами расслабленного умиления в душе о том, как *они* войдут и найдут его мертвым и начнут любить его, жалеть и себя винить. Он даже мог мечтать и о самоубийстве, но лишь *мечтать*; строгий строй сложившегося дворянского семейства отозвался бы и в двенадцатилетнем ребенке, и не довел бы его *мечту* до дела, а тут — *помечтал*, да и *сделал*... У нас есть, бесспорно, жизнь разлагающаяся, и семейство, стало быть, разлагающееся» (25, 35).

Такова феноменология духа аномии как распространяющегося пренебрежения религиозными запретами, нравственными нормами и, как следствие, юридическими законами. Дух нравственного беззакония, обнаружившийся в воздухе переходной эпохи, начинает проникать в умы и души, поражая в первую очередь иные существа, не имеющие внутренних сил и средств противостоять ему.

Ищущая, беспокойно-неуемная мысль Достоевского явственно ощущала скованность, приземленность, бескрылость естественно-научных знаний о жизни и человеке. Ей было явно тесно в пределах позитивистской рассудочности сугубо социологического подхода, объясняющего все, что происходит с человеческим духом, исключительно лишь воздействием социальных обстоятельств. Чтобы выска-

заться с достаточной определенностью и, по возможности, полно изложить метафизику самоубийства, Достоевский пишет новеллу «Сон смешного человека».

Ночная душа «смешного человека»

На страницах «Дневника писателя» появляется рассказ о фантастическом путешествии метафизического «я». В новелле есть много сходного с «Записками из подполья» с той лишь разницей, что герой совершает здесь странствие не по адским глубинам собственного подполья, а по беспредельным далям трансфизического мира.

Достоевский берет ситуацию в предельно метафизическом варианте, вне какой-либо ее социальной обусловленности. Его герой решается на самоубийство, которое, казалось бы, не имеет явных причин. Просто, как он сам объясняет, однажды промозглым осенним вечером в небе Петербурга, в разрыве облаков мелькнула безымянная звезда, которая и дала ему мысль убить себя этой же ночью.

Новелла вполне могла бы иметь название «Сон безумца», поскольку ее безымянный протагонист неоднократно признается, что его часто называют сумасшедшим.³⁹ Но именно его «ненормальность», отличающая его от «нормальных», заурядных обывателей, позволила ему стать

³⁹ В связи с темой сумасшествия любопытен один юношеский замысел Достоевского. В 16-летнем возрасте он писал в письме к брату: «У меня есть прожект: сделаться сумасшедшим. Пусть люди бесятся, пусть лечат, пусть делают умным» (28–1, 51). Загадочность этого высказывания несколько прояснилась лишь спустя десятилетия, когда из-под пера писателя стали выходить образы героев-безумцев, которым оказались доступны метафизические реалии, скрытые от обычных людей, и в которых, без сомнения, нашли свое воплощение некоторые сокровенные уголки внутреннего мира самого писателя.

метафизическим героем, причастным к иным мирам и прикоснувшимся к истинам, которые не по плечу обычным людям. Он — мудрец-безумец, в чем-то сходный с традиционным для народной культуры типом чудака или «мудрого дурака», проникающего в суть вещей гораздо глубже, чем окружающие его «разумные» люди. И это один из любимых Достоевским типов, который, в отличие от прочих, «носит в себе иной раз сердцевину целого» и выражает своим жизнеотношением глубинную суть бытия.

В «Сне смешного человека» тема самоубийства причудливо соединилась с темой метафизического странствия. Впрочем, можно сказать и так, что рассказ в некотором смысле вместил в себя и другие сюжеты метафизических путешествий: здесь есть что-то и от посещения личного «подполья», как в «Записках из подполья», и мотив погружения в загробный мир, как в «Бобке». Но в целом мотив метафизического суицида вобрал в себя темы и экзистенциального «подполья» и загробного существования.

Достоевский разворачивает свою метафизическую танатологию вокруг антиномии, где сталкиваются тезис — «Бессмертия нет» и антитезис — «Бессмертие существует».

Если следовать логике Альберта Камю, то «смешной человек» Достоевского — истинный философ-метафизик, поскольку он решает единственную, по-настоящему серьезную философскую проблему — проблему самоубийства. Но решение, принятое философским сознанием героя, наталкивается на глухое сопротивление инстинкта самосохранения с присущей тому волей к жизни. Поединок философской воли к смерти с инстинктивной волей к жизни неожиданно оборачивается спасительным разрешением — сном.

Сон позволяет герою целиком погрузиться в ситуацию самоубийства со всеми ее метафизическими компонентами

и последствиями и вместе с тем остаться живым. Не случайно вся новелла имеет вид *метафизической пантомимы*, где все самое главное происходит в тишине и молчании, а звучит лишь внутренний монолог героя, и где даже роковой выстрел беззвучен, поскольку нажатие курка происходит во сне.

Погружению героя в метафизический мир предшествовало совершенно метафизическое восприятие ноябрьского, осенне-зимнего, то есть самого мрачного Петербурга. Ночной, пустынный, он как бы подготавливал к последующим событиям. «Я возвращался тогда, — рассказывает герой, — в одиннадцатом часу вечера домой, и именно помню, я подумал, что уж не может быть более мрачного времени. Даже в физическом отношении. Дождь лил весь день, и это был самый мрачный дождь, какой-то даже грозный дождь, я это помню, с явной враждебностью к людям, а тут вдруг, в одиннадцатом часу перестал, и началась страшная сырость, сырее и холоднее, чем когда дождь шел, и ото всего шел какой-то пар, от каждого камня на улице и из каждого переулка, если заглянуть в него в самую глубь...» (25, 105).

В этом описании есть сходство с мрачной картиной истинно метафизического дождя, льющегося в третьем круге дантовского Ада:

И в третьем круге, там, где дождь струится,
Проклятый, вечный, грузный, ледяной;
Всегда такой же, он все также длится.

Тяжелый град, и снег, и мокрый гной
Пронизывают воздух непроглядный;
Земля смердит под жидкой пеленой.⁴⁰

⁴⁰ Данте А. Божественная комедия. М., 1982. С. 48.

Под этим дождем, низвергающимся в кромешной тьме, Цербер терзает грешников, срывая с них кожу вместе с мясом, «а те под ливнем воют, словно суки».

Петербург, приравненный к третьему кругу Ада, не рождает желания жить, и герой «Сна смешного человека» решает в ту ночь свести счеты с жизнью.

Мотивация метафизического самоубийства

В новелле отсутствует какая-либо мотивировка самоубийства. Но читателю нет надобности самому ее восстанавливать, поскольку Достоевский полугодием ранее, в октябрьском номере «Дневника писателя» за 1876 год, в статье «Приговор» уже изложил ее сам. Вместе с описанием личности «логического самоубийцы» он вывел итоговую метафизическую формулу его умонастроений. В избранном писателем жанре исповеди приводилось предсмертное признание некоего господина NN, настроившегося на самоистребление без всякой видимой на то причины. Его-то рассуждения и могут служить расшифровкой мотивов самоубийства «смешного человека».

Аргументация NN сводится к нескольким метафизическим положениям. Во-первых, это мысль о том, что человеческому существу, обладающему самосознанием и способностью страдать, недоступны замыслы высших сил. И хотя, согласно этим предполагаемым замыслам, существует высшая абсолютная гармония целого, ради которой следует смиренно сносить земные страдания, человеку, жаждущему не только будущего, но и сегодняшнего счастья, не только всеобщего блаженства, но и личных радостей, трудно считать такое положение вещей разумным и оправданным.

Второе соображение: если все сущее на земле рано или поздно обратится в ничто, в прежний хаос, в «нуль», то все человеческие стремления и упования теряют смысл. При этих условиях человеку жить в качестве некоего страдательного начала и обидно и оскорбительно. Так возникает желание истребить себя, чтобы не нести бремя тирании, в существовании которой нет виновных. Потому, говорит NN, я беру на себя роль судьи и подсудимого одновременно и «присуждаю эту природу, которая так бесцеремонно и нагло произвела меня на страдание, вместе со мною к уничтожению... А так как природу я истребить не могу, то и истребляю себя одного, единственно от скуки...» (23, 148).

Спустя два месяца, в декабрьском номере «Дневника» Достоевский опять возвращается к герою «Приговора» и утверждает, что изложенная там аргументация, если ее рассматривать только в логическом ключе, неуязвима. Действительно существует общая аксиома, согласно которой все, что имеет начало, имеет и конец. Поэтому человеческая цивилизация, как и все живое, обречена.

И тем не менее, несмотря на логическую доказательность этих рассуждений, господин NN, по мнению Достоевского, заблуждается. Его неправота состоит в том, что он потерял веру в бессмертие своей души. Потому для него и его «несчастливого сознания» бытие и становится невыносимым и невыносимым, и он предпочитает ему возможность пережить темный восторг самоуничтожения.

Для того, кто отвергает высший мир и видит в человеке существо, мало чем отличающееся от животных, становится оскорбительной жизнь ради того, чтобы только есть, спать и «сидеть на мягком». Таких людей, замечает писатель, особенно много среди интеллигенции и, очевидно, не случайно то, что именно среди них так возросло число самоубийц.

Среди людей этого склада оказался и герой «Сна смешного человека». ⁴¹ Одолеваемый метафизической тоской по высшему значению жизни, он не видит возможности, которая позволила бы ему хоть как-то ее утолить или хотя бы заглушить. Не веруя в существование высшего мира, он не может отделаться от мысли о том, что, по всей видимости, «на свете везде *все равно*». Но раз совершенно все «все равно» и нет сколь-нибудь существенной разницы между добром и злом, жизнью и смертью, смыслом и бессмыслицей, то его собственное существование утрачивает какие-либо разумные основания. Он обнаруживает вокруг себя кромешную пустоту и мысленно вплотную приближается к грани, отделяющей его от небытия. Не веря в бессмертие души, «теоретический самоубийца» полагает, что после выстрела в голову превратится в «абсолютный нуль», полностью растворится в небытии. При этом его тешит надежда, что, может быть, ему удастся одновременно разделаться и с окаянным миром, столь немилосердным к нему. Он кажется себе почти Демиургом, имеющим право действовать в соответствии с логикой воздаяния: «Мне отмщения и аз воздам». «Ясно представлялось, — размышляет

⁴¹ Если следовать классификации Э.Дюркгейма, то «смешного человека» необходимо отнести к категории меланхоликов, пребывающих в болезненном состоянии упадка духа и глубочайшей скорби. «В таком состоянии человек не может вполне здраво определить свои отношения к окружающим его лицам и предметам. Его не привлекают никакие удовольствия, все рисуется ему в черном свете, жизнь представляется утомительной и безрадостной. Ввиду того, что такое состояние не прекращается ни на минуту, у больного начинает просыпаться неотступная мысль о самоубийстве; мысль эта крепко фиксируется в его мозгу, и определяющие ее общие мотивы остаются неизвестными... Человек стремится к одиночеству, его охватывает невыразимая тоска, он может часами сидеть неподвижно, спокойно обдумывая все детали своего плана» (Дюркгейм Э. Самоубийство. М., 1994. С. 30–31)

“смешной человек”, — что жизнь и мир теперь как бы от меня зависят. Можно сказать даже так, что мир теперь как бы для меня одного и сделан: застрелюсь я, и мира не будет, по крайней мере для меня. Не говоря уже о том, что, может быть, и действительно ни для кого ничего не будет после меня, и весь мир, только лишь угаснет мое сознание, угаснет тотчас как призрак, как принадлежность лишь одного моего сознания, и упразднится, ибо, может быть, весь этот мир и все эти люди — я-то сам один и есть» (25, 108).

Постсуицидная метафизика

Но происходит нечто неожиданное, опрокинувшее все предположения «смешного человека». Его метафизическое «я» последовательно проходит через физическое самоубийство, умирание и захоронение, оставаясь при этом совершенно невредимым. То, что случается с ним дальше, оказывается поистине фантастикой, не предусмотренной его материалистически-атеистическими взглядами. Впоследствии П. Флоренский описал переживания, чрезвычайно сходные с тем, что испытало метафизическое «я» «смешного человека». Флоренский рассказал, как он пережил во сне собственное умирание: «У меня не было образов, а были одни чисто внутренние переживания. Беспросветная тьма, почти вещественно-густая, окружала меня. Какие-то силы увлекли меня на край, и я почувствовал, что это — край бытия Божия, что вне его — абсолютное ничто. Я хотел вскрикнуть, и — не мог. Я знал, что еще одно мгновение, и я буду извергнут во тьму внешнюю. Тьма начала вливаться во все существо мое. Самосознание наполовину было утеряно, и я знал, что это — абсолютное, метафизическое уничтожение. В последнем отчаянии я завопил не своим голосом: “Из глубины воззвал к тебе,

Господи, услыши глас мой...» В этих словах тогда вылилась душа. Чьи-то руки мощно схватили меня, утопающего, и отбросили куда-то далеко от бездны. Толчок был внезапный и властный. Вдруг я очутился в обычной обстановке, в своей комнате, кажется: из мистического небытия попал в обычное житейское бывание. Тут почувствовал себя перед лицом Божиим и тогда проснулся, весь мокрый от холодного пота». ⁴²

Но со «смешным человеком» все совершается противоположным образом: его, в отличие от Флоренского, не спасают ни Бог, ни ангел, посланец Бога. Его ночную душу подхватывает и уносит из могильного заточения какое-то темное существо, к которому он почувствовал вместо благодарности глубокое отвращение. Очевидно, это был демон смерти, посланец Дьявола. Он высвободил темную метафизическую субстанцию «смешного человека» из могилы с далеко идущей целью — использовать этого представителя «гнусных петербуржцев» как семя зла, т. е. занести его в иные миры, сделать его там «первопреступником», еще одним Каином, заразить злом тамошних обитателей, чтобы затем пожать обильную жатву из грехов, преступлений и страданий.

Самоубийственный выстрел, явившейся уже сам по себе грехом, нравственным преступлением, вырывает «смешного человека» одновременно из трех миров — из физического мира, уничтожая жизнь его тела; из социального мира, лишая его возможности продолжать играть среди людей какие-либо социальные роли; из мира высших духовных ценностей, ставя его вне религии и нравственности, вне их требований и запретов. В результате герой оказывается вне покровительства Бога. Его метафизическое

⁴² Флоренский П. Столп и утверждение истины. М., 1914. С. 205.

«я», отторгнувшее от себя все ценности бытия, само лишается какого бы то ни было благого прикрытия и оказывается наедине с бездной, во власти темного демона, подхватившего его ночную душу и понесшего ее сквозь ледяные космические вихри.

Их последующий полет непостижим с позиций классических представлений о пространстве и времени. Физика отступает перед этим феноменом, и только метафизика позволяет хотя бы на какую-то малую толику приблизиться к его пониманию. По сути, преодолеваемое в полете расстояние оказывается для «смешного человека» экзистенциальным пространством, позволяющим ему выдвинуться на рубежи новых смыслов. Через внезапно открывшуюся возможность странствия за пределами физического мира перед ночной душой героя открывается то, что невозможно узреть земными очами и что недоступно обычному рассудочному пониманию.

Сцена полета «смешного человека» с демоном напоминает байроновскую сцену полета Каина с Люцифером в мистерии «Каин»:

Каин

О, как мы рассекаем воздух! Звезды
Скрываются от наших глаз! Земля!
Где ты, Земля? Дай мне взглянуть на землю,
Я сын ее.

Люцифер

Земли уже не видно.
Пред вечностью она гораздо меньше,
Чем ты пред ней. Но ты с землею связан
И скоро к ней вернешься.

Каин у Байрона побывал за чертой жизни, в запредельном мире и в итоге обрел темное знание о царстве вечного

мрака и смерти, а также понимание того, что смерть — это не что иное, как другая жизнь.

«Смешной человек» Достоевского, подобно Каину, ставшему на земле первым преступником-убийцей, также выступил в роли «первопреступника». Но это произошло не на Земле, а на неведомой, юной, еще не знавшей зла планете, где ее обитатели существовали по законам любви, пребывая в гармоническом единении с мирозданием.

В результате особого художественно-оптического эффекта древняя мифология грехопадения первых людей как бы придвинулась из ветхозаветной доисторической дали. Это позволило герою войти в ее ценностно-смысловое пространство и взять на себя в нем одну из ключевых ролей — выступить в качестве соблазнителя и развратителя дотоле безгрешного и счастливого населения неведомой звезды.

Здесь Достоевский пускает в ход метафизический потенциал древней мифологемы «первопреступника». Его метафизическое и художественное воображение позволяет примерить ветхозаветные образы Змия-искусителя и Каина к вполне современной фигуре обыкновенного, ничем не примечательного российского горожанина второй половины просвещенного XIX века.

Художественно-философская мысль Достоевского двигалась здесь одновременно и в русле евангельского тезиса о мире, обреченном лежать во зле. То есть пороки и преступления были, есть и будут, поскольку зло вечно. И даже среди установившегося на какое-то время общего благоразумия всегда найдется какой-нибудь «джентльмен с неблагородной физиономией», который захочет нарушить его.

В «Сне смешного человека» именно так и происходит: среди благоразумных и счастливых жителей чудесной планеты появляется такой джентльмен — «гнусный петер-

буржец». Отчужденное земное существование в плену собственной ночной души, грех самоубийства, затем попадание в полную власть темного демона зла сделали его способным выступить в роли непосредственного виновника общего грехопадения, завершившегося нравственным самоубийством целой цивилизации.

Но история «смешного человека» на этом не заканчивается. Главным для него стало не участие в развращении жителей неведомой планеты, а экзистенциальное открытие, состоявшее в обнаружении того, что за чертой смерти есть иная жизнь, что его душа бессмертна. А раз так, то, значит, кроме темных демонов и дьявола, существует и Бог. В итоге вся метафизическая одиссея «смешного человека», принявшая форму художественно-философской миниатюры, становится ни чем иным, как теодицеей.

Обращает на себя внимание один маленький, но весьма характерный эпизод в этой истории. В тот вечер, когда «смешной человек» решился на самоубийство, он на улице не помог обратившейся к нему маленькой девочке. Казалось бы, можно было отдать ей деньги, которые ему уже не требовались? Но уже захватило его ощущение того, что он почти вне досягаемости всего человеческого, а значит, и всех тех норм нравственности, которым подчинено существование людей.

Истинный смысл этого поступка приоткрывает пример, приведенный священником, отцом Андреем Кураевым. Это случилось с одним христианским проповедником. В Париже, на «мосту самоубийц», он заметил юношу, явно готовящегося к последнему шагу. Проповедник подошел к нему и попросил отложить исполнение решения на несколько минут — прежде же пойти в соседний квартал, найти какого-нибудь нуждающегося человека и отдать ему свои деньги, которые, конечно, уже не понадобятся более

самому юноше. Совет был принят. Молодой человек ушел и на мост уже не вернулся. Вероятно, в тот момент, когда он отдал свой кошелек, его сердце осветилось радостью большей, чем у принявшего его дар, и смысл жизни был ему явлен.⁴³

Если бы «смешной человек» Достоевского проявил милосердие, тот злополучный ноябрьский вечер наверняка у него сложился бы иначе. Ведь не случайно, очнувшись после привидившегося ему самоубийства и метафизического странствия, он сразу же неожиданно для себя вспомнил эту девочку и тут же дал себе слово разыскать ее.

Его дух вышел в иное ценностное измерение. Для него изменился общий строй мировосприятия и произошло пересоздание картины мира, в результате чего перед ним возникли новые образы прошлого, настоящего и будущего.

Смирненное самоубийство

Стремление прояснить тему самоубийства присутствует и в маленькой повести «Кроткая», опубликованной Достоевским в «Дневнике писателя». Непосредственный импульс к ее написанию дала история, о которой сообщала петербургская газета «Новое время» от 3 октября 1876 года: «В двенадцатом часу дня, 30-го сентября, из окна мансарды шестиэтажного дома Овсянникова, № 20, по Галерной улице выбросилась приехавшая из Москвы швея Мария Борисова. Борисова приехала из Москвы, не имея здесь никаких родственников, занималась поденною работою. В последнее время часто жаловалась на то, что труд ее скудно оплачивается, а средства, привезенные из Москвы, вы-

⁴³ Андрей Кураев. О вере и знании — без антиномий // Вопросы философии. 1992. С. 50.

ходят, поэтому страшилась за будущее. 30 сентября она жаловалась на головную боль, потом села пить чай с калачом, в это время хозяйка пошла на рынок и едва успела спуститься с лестницы, как во двор полетели обломки стекла, затем упала и сама Борисова. Жильцы противоположного флигеля видели, как Борисова разбила два стекла в раме и ногами вперед вылезла на крышу, перекрестилась и с образом в руках бросилась вниз, образ этот был лик Божией матери — благословение от родителей. Борисова была поднята в бесчувственном состоянии и отправлена в больницу, где через несколько минут умерла» (23, 146).

Некоторые газетные сообщения способны рождать сложные нравственные, религиозные и философские вопросы, выходящие далеко за пределы изложенного социального факта. В таких случаях художественное мышление может стать средством проникновения в метафизическую природу подобных фактов.

Достоевского в данном случае поразило не столько самоубийство как таковое, сколько то, что молодая женщина выбросилась из окна с иконой в руках. По его представлениям чаще всего сводили счеты с жизнью ни во что не верящие материалисты и нигилисты, для которых Бог и душа — пустые, ничего не значащие понятия. «Этот образ в руках, — писал он, — странная и неслыханная еще в самоубийстве черта. Это уж какое-то кроткое, смиренное самоубийство. Тут даже, видимо, не было никакого ропота или попрека: просто — стало нельзя жить, «Бог не захотел» и — умерла, помолившись. Об иных вещах, как они с виду ни *просты*, долго не перестаешь думать, как-то мерещится, и даже точно вы в них виноваты. Эта кроткая, истребившая себя душа невольно мучает мысль» (23, 146). Далее писатель вспоминает о смерти дочери Герцена и замечает: «Вот эта-то смерть и напомнила мне о сообщенном

мне еще летом самоубийстве дочери эмигранта. Но какие, однако же, два разные создания, точно обе с двух разных планет! И какие две разные смерти! А которая из этих душ больше мучилась на земле, если только приличен и позволителен такой праздный вопрос?» (23, 146).

Весьма много столь же «праздных» вопросов рождалось в душе писателя, пытавшегося хоть как-то прояснить для себя и для читателя проблему самоубийства. Будучи праздными в глазах газетчиков и социологов-позитивистов, они, однако, составляли неотъемлемую принадлежность метафизического взгляда на вещи. Их «праздность» в том и состояла, что они не вписывались в рамки сугубо рассудочных объяснительных схем, предлагаемых позитивным знанием. Однако западное сознание, успевшее отвыкнуть от метафизики, охотно довольствовалось такими схемами. И ему было вполне достаточно того, что предлагали Дюркгейм и его единомышленники в своих социологических выкладках по поводу самоубийств. Однако российская мысль с ее необарочными ориентациями, метафизическими пристрастиями, еще не утраченным вкусом к тайнописи бытия не могла довольствоваться аналогичными объяснениями. Ей было тесно и душно в этих узких рамках и требовалось «воздуху». Еще не потерявшая способности к метафизическим взлетам, она отважно устремлялась в головокружительную высь, легко преодолевая границу между физической и сверхфизической реальностью.